

Троцкий Л. Война и революция, Т. I.

Пг., 1922. — 372 с.

в историю рабочей революции крупнейшим минусом. Его мысли не хватало мужества, его проницательности не доставало воли. Цепкость не заменяла их. Это погубило его. Марксизм есть метод объективного анализа и вместе с тем предпосылка революционного действия. Он предполагает то равновесие мысли и воли, которое сообщает самой мысли „физическую силу“ и дисциплинирует волю диалектическим соподчинением субъективного и объективного. Лишенная волевой пружины мысль Мартова всю силу своего анализа направляла неизменно на то, чтобы теоретически оправдать линию наименьшего сопротивления. Вряд ли есть и вряд ли когда-нибудь будет другой социалистический политик, который с таким талантом эксплуатировал бы марксизм для оправдания уклонений от него и прямых измен ему. В этом отношении Мартов может быть, без всякой иронии, назван виртуозом. Более его образованные в своих областях Гильфердинг, Бауер, Реннер и сам Каутский являются, однако, в сравнении с Мартовым, неуклюжими подмастерьями, поскольку дело идет о политической фальсификации марксизма, т. е. об истолковании пассивности, приспособления, капитуляции, как самых высоких форм непримиримой классовой борьбы.

Несомненно, что в Мартове заложен был революционный инстинкт. Первый его отклик на крупные события всегда обнаруживает революционное устремление. Но после каждого такого усилия его мысль, не поддерживаемая пружинной воли, дробится на части и оседает назад. Это можно было наблюдать в начале столетия, при первых признаках революционного прибора („Искра“), затем в 1905 году, далее — в начале империалистской войны, отчасти еще — в начале революции 1917 г. Но тщетно! Изобретательность и гибкость его мысли расходовались целиком на то, чтобы обходить основные вопросы и выискивать все новые доводы в пользу того, чего защитить нельзя. Диалектика стала у него тончайшей казуистикой. Необыкновенная чисто-кошачья цепкость — воля безволия, упорство нерешительности — позволяла ему месяцами и годами держаться в самых противоречивых и безвыходных положениях. Обнаружив при решительной исторической встряске стремление занять революционную позицию и возбудив надежды, он каждый раз обманывался: грехи не пускали. И в результате он скатывался все ниже. В конце концов, Мартов стал самым изощренным, самым тонким, самым неуловимым,

мым, самым проницательным политиком тупоумной, пошлой и трусливой мелко-буржуазной интеллигенции. И то, что он сам не видит и не понимает этого, показывает, как беспощадно его мозаическая проницательность посмеялась над ним. Ныне, в эпоху величайших задач и возможностей, какие когда-либо ставила и открывала история, Мартов распял себя между Лонге и Черновым. Достаточно назвать эти два имени, чтобы измерить глубину идейного и политического падения этого человека которому, дано было больше, чем многим другим.

Г. В. Плеханов.

Война подытожила целую эпоху в социализме, взвесила и оценила вождей этой эпохи. Безжалостно ликвидировала она в их числе и Г. В. Плеханова. Это был большой человек. Обидно думать, что все нынешнее молодое поколение пролетариата, примкнувшее к движению с 1914 года и позже, знает Плеханова только, как покровителя Алексинских, сотрудника Авксентьевых, почти — единомышленника пресловутой Брешковской, то-есть Плеханова эпохи „патриотического“ упадка. Это был поистине большой человек. И большой фигурой вошел он в историю русской общественной мысли.

Плеханов не создал теории исторического материализма, не обогатил ее новыми научными завоеваниями. Но он ввел ее в русскую жизнь. А это заслуга огромной важности. Нужно было победить революционно-самобытные предубеждения русской интеллигенции, в которых находило свое выражение высокомерие отсталости. Плеханов „национализировал“ марксистскую теорию и тем самым денационализировал русскую революционную мысль. Через Плеханова она впервые заговорила языком действительной науки, установила идейную связь свою с рабочим движением всего мира, раскрыла русской революции реальные возможности и перспективы, найдя для них опору в объективных законах хозяйственного развития.

Плеханов не создал материалистической диалектики, но он явился ее убежденным, страстным и блестящим крестоносцем в России с начала 80-х годов. А для этого требовались: величайшая проницательность, широкий исторический кругозор и благородное мужество мысли. С этими качествами Плеханов соединил еще блеск изложения и талант шутки. Первый русский крестоносец марксизма работал мечом на славу. Сколько он нанес ран! Неко-

„Для Плеханова“

№ 1258-к

торые из них, как раны, нанесенные талантливому эпигону народничества Михайловскому, имели смертельный характер. Для того, чтобы оценить силу плехановской мысли, нужно иметь представление о плотности той атмосферы народнических, субъективистских, идеалистических предрассудков, которая царил в радикальских кружках России и русской эмиграции. А эти кружки представляли собою самое революционное, что выдвинула из себя Россия второй половины XIX века.

Духовное развитие нынешней передовой рабочей молодежи идет (к счастью!) совсем другими путями. Величайший в истории социальный обвал отделяет нас от того времени, когда разыгрывалась дуэль Бельтова—Михайловского¹⁾. Вот почему форма лучших, т.-е. наиболее ярко-полемических произведений Плеханова, устарела, как устарела форма энгельсовского „Анти-Дюринга“. Взгляды Плеханова молодому мыслящему рабочему несравненно понятнее и ближе, чем те взгляды, которые Плеханов разбирает. Поэтому молодому читателю приходится тратить гораздо больше внимания и воображения на то, чтобы мысленно восстановить взгляды народников и субъективистов, чем на то, чтобы понять силу и меткость Плехановских ударов. Вот почему книги Плеханова не могут получить теперь широкого распространения. Но молодой марксист, который имеет возможность правильно работать над расширением и углублением своего мирозерцания, непременно будет обращаться к первому истоку марксистской мысли в России—к Плеханову. Для этого придется каждый раз ретроспективно вработаться в идейную атмосферу русского радикализма 60—90-х годов. Задача нелегкая. Зато и наградой будет расширение теоретических и политических горизонтов и эстетическое наслаждение, какое дает победоносная работа ясной мысли в борьбе с предрассудком, косностью и глупостью.

Несмотря на сильное влияние на него французских мастеров слова, Плеханов остался целиком представителем старой русской школы в публицистике (Белинский, Герцен, Чернышевский). Он любил писать пространно, не стесняясь уклониться в сторону и

¹⁾ Под псевдонимом Бельтова Плеханову удалось в 1895 г. провести через царскую цензуру самый свой победоносный и блестящий памфлет: „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю“.

развлечь читателя по пути шуткой, цитатой—и еще одной шуткой... Для нашего „советского“ времени, которое режет слишком длинные слова на части и потом прессует их осколки вместе, плехановская манера кажется устарелой. Но она отражает целую эпоху и, в своем роде, остается превосходной. Французская школа наложила на нее свою выгодную печать, в виде точности формулировок и прозрачной ясности изложения.

В качестве оратора. Плеханов отличался теми же свойствами, как и писатель, к выгоде и к невыгоде своей. Когда вы читаете книги Жореса, даже его исторические труды, вы чувствуете записанную ораторскую речь. У Плеханова—наоборот. В его речах вы слышали говорящего писателя. Ораторское писательство, как и писательское ораторство, могут дать очень высокие образцы. Но все-таки писательство и ораторство—две разные стихии и два разных искусства. Оттого книги Жореса утомляют своей ораторской напряженностью. И по той же причине Плеханов-оратор производил нередко двойственное и потому расколаживающее впечатление искусного чтеца своей собственной статьи.

Выше всего он был на теоретических диспутах, в которых так неутомимо купались целые поколения русской революционной интеллигенции. Здесь самая материя спора сближает писательство и ораторство. Слабее всего он был в речах чисто политического характера, т.-е. в таких, которые имеют своей задачей—связать слушателей единством действительного вывода, слить воедино их волю. Плеханов говорил, как наблюдатель, как критик, как публицист, но не как вождь. Вся его судьба отказала ему в возможности обращаться непосредственно к массе, звать ее на действие, вести ее. Его слабые стороны вытекают из того же источника, что и его главная заслуга: он был предтечей, первым крестоносцем марксизма на русской почве.

Мы сказали, что Плеханов почти не оставил таких работ, которые могли бы войти в широкий идейный обиход рабочего класса. Исключение составляет разве только „История русской общественной мысли“; но это труд в теоретическом отношении далеко не безупречный: соглашательские и патриотические тенденции плехановской политики последнего периода успели, по крайней мере, частично подкопать даже его теоретические устои. Запутавшись в безвыходных противоречиях социал-патриотизма, Плеханов начал искать директив вне теории классовой борьбы,—то

в национальном интересе, то в отвлеченных этических принципах. В последних своих писаниях он делает чудовищные уступки нормативной морали, пытаясь сделать ее критерием политики („оборонительная война—справедливая война“). Во введении к своей „Истории русской общественной мысли“ он ограничивает сферу действия классовой борьбы областью внутренних отношений, заменяя ее для международных отношений национальной солидарностью ¹⁾. Это уже не по Марксу, а по... Зомбарту. Только тот, кто знает, какую непримиримую, блестящую и победоносную борьбу Плеханов вел в течение десятилетий против идеализма вообще, нормативной философии в особенности, против школы Brentano и ее марксисто-подобного фальсификатора Зомбарта,—только тот и может оценить глубину теоретического падения, совершенного Плехановым под тяжестью национально-патриотической идеологии.

Но это падение было подготовлено: несчастье Плеханова шло из того же корня, что и его бессмертная заслуга,—он был предтечей. Он не был вождем действующего пролетариата, а только его теоретическим предвестником. Он полемически отстаивал методы марксизма, но не имел возможности применять их в действии. Прожив несколько десятков лет в Швейцарии, он оставался русским эмигрантом. Опportunистический, муниципальный и кантональный швейцарский социализм, с крайне низким теоретическим уровнем, его почти не интересовал. Русской партии не было. Ее заменяла для Плеханова „Группа освобождения труда“, то-есть тесный кружок единомышленников (Плеханов, Аксельрод, Засулич и Дейч, находившийся на каторге). Плеханов стремился тем более упрочить теоретические и философские корни своей позиции, чем более ему не хватало политических корней. В качестве наблюдателя европейского рабочего движения, он оставлял сплошь да рядом без внимания крупнейшие политические проявления крохоборства, малодушия, соглашательства социа-

¹⁾ „Ход развития всякого данного общества, разделенного на классы, определяется ходом развития этих классов и их взаимными отношениями, т.-е., во-первых, их *взаимной борьбой* там, где дело касается внутреннего общественного устройства, и, во-вторых, их более или менее дружным *сотрудничеством* там, где заходит речь о защите страны от внешних нападений“. (Г. В. Плеханов. „История русской общественной мысли“. (Москва, 1919 г. стр. II.)

листических партий; но всегда был настороже по части теоретических ересей социалистической литературы.

Это нарушение равновесия между теорией и практикой, выросшее из всей судьбы Плеханова, оказалось для него роковым. К большим политическим событиям он оказался неподготовлен, несмотря на всю свою большую теоретическую подготовку. Уже революция 1905 года застигла его врасплох. Этот глубокий и блестящий марксист-теоретик ориентировался в событиях революции при помощи эмпирического, по существу обывательского глазомера, чувствовал себя неуверенным, по возможности отмалчивался, уклонялся от определенных ответов, отделяясь алгебраическими формулами или остроумными анекдотами, к которым питал великое пристрастие.

Я впервые увидел Плеханова в конце 1902 г., т.-е. в тот период, когда он заканчивал свою превосходную теоретическую кампанию против народничества и против ревизионизма ¹⁾ и оказался лицом к лицу с политическими вопросами надвигавшейся революции. Другими словами, для Плеханова начиналась эпоха упадка. Только один раз мне довелось видеть и слышать Плеханова, так сказать, во всей силе и во всей славе его: это было в программной комиссии II съезда партии (в июле 1903 г., в Лондоне). Представители группы „Рабочего Дела“, Мартынов и Акимов, представители „Бунда“, Либер и др., кое-кто из провинциальных делегатов пытались внести поправки, в большинстве неправильные теоретически и мало продуманные, к проекту программы партии, выработанному, главным образом, Плехановым. В комиссионных прениях Плеханов был неподражаем и... беспощаден. По каждому поднимавшемуся вопросу и даже вопросу он без всякого усилия мобилизовал свою выдающуюся эрудицию и заставлял слушателей и самих оппонентов убеждаться в том, что вопрос только начинается там, где авторы поправки думали закончить его. С ясной, научно-отшлифованной концепцией программы в голове, уверенный в себе, в своих знаниях, в своей силе, с веселым ироническим огоньком в глазах, с колючими и тоже веселыми усами, с чуть-чуть театральными, но живыми и выразительными жестами Плеханов, сидевший председателем, освещал собою всю много-

¹⁾ Ревизионизм — эклектическая теория, основанная на пересмотре (ревизии) марксизма в опportunистическом духе.

численную секцию, как живой фейерверк учености и остроумия. Отблеск его вспыхивал обожанием на всех лицах и даже на лицах оппонентов, где восторг боролся со смущением.

При обсуждении тактических и организационных вопросов на том же съезде Плеханов был несравненно слабее, иногда казался прямо таки беспомощным, вызывая недоумение тех самых делегатов, которые любовались им в программной секции.

Еще на цюрихском международном конгрессе 1893 г. Плеханов заявил, что революционное движение в России победит, как рабочее движение, или не победит вовсе. Это означало, что революционной буржуазной демократии, способной победить, в России нет и не будет. Но отсюда вытекал вывод, что победоносная революция, осуществленная пролетариатом, не может закончиться иначе, как переходом власти в руки пролетариата. От этого вывода Плеханов, однако, в ужасе отпрянул. Тем самым он политически отказался от своих старых теоретических предположений. Новых он не создал. Отсюда его политическая беспомощность, его шатание, завершившееся его тяжким патриотическим грехопадением.

В эпоху войны, как и в эпоху революции, для верных учеников Плеханова не оставалось ничего иного, как вести против него непримиримую борьбу.

К. Каутский. „Нашему Слову“ пришлось сводить счеты и с Каутским. Международный авторитет его стоял накануне империалистской войны еще очень высоко, хотя уже далеко не на той высоте, как в начале столетия и в особенности в период первой русской революции.

Каутский был, несомненно, самым выдающимся теоретиком Второго Интернационала и в течение большей половины своей сознательной жизни он представлял и обобщал лучшие стороны Второго Интернационала. Пропагандист и вульгаризатор марксизма, Каутский главную свою теоретическую миссию видел в примирении реформы и революции. Но сам-то он идейно сложился в эпоху реформы. Реальностью для него была реформа. Революция — теоретическим обобщением, исторической перспективой.

Дарвиновская теория происхождения видов охватывает развитие растительного и животного царств на всем его протяжении. Борьба за существование, естественный и половой отбор идут

безостановочно и непрерывно. Но если бы наблюдатель предполагал достаточным временем для наблюдения, имея, скажем, тысячелетие, в качестве низшей единицы измерения, он с несомненностью установил бы на глаз, что бывают долгие эпохи относительного жизненного равновесия, когда действие законов отбора почти не заметно, виды сохраняют свою относительную устойчивость и кажутся воплощением платоновских идей-типов; но бывают и эпохи нарушенного равновесия между растениями, животными и географической средой, эпохи гео-биологических кризисов, когда законы естественного отбора выступают во всей свирепости и ведут развитие по трупам растительных и животных видов. В этой гигантской перспективе дарвиновская теория предстанет прежде всего как теория критических эпох в развитии растительного и животного мира.

Марксова теория исторического процесса охватывает всю историю общественно-организованного человека. Но в эпохи относительного общественного равновесия зависимость идей от классовых интересов и систем собственности остается замаскированной. Высшей школой марксизма являются эпохи революции, когда борьба классов из-за систем собственности принимает характер открытой гражданской войны, и когда системы государства, права и философии обнажаются до конца, как служебные органы классов. Сама теория марксизма была формулирована в предреволюционную эпоху, когда классы искали новой ориентировки, и окончательно сложилась в испытаниях революций и контр-революций 1848 и следующих годов.

Каутский не имел этого незаменимого живого опыта революции. Он получил марксизм, как готовую систему, и популяризовал ее, как школьный учитель научного социализма. Расцвет его деятельности пришелся на глубокий провал между разгромленной Парижской Коммуной и первой русской революцией. Капитализм развернулся со все покоряющим могуществом. Рабочие организации росли почти автоматически, но „конечная цель“, то-есть социально-революционная задача пролетариата, отделилась от самого движения и сохраняла чисто академическое существование. Отсюда пресловутый афоризм Бернштейна: „Движение — все, конечная цель — ничто“. Как философия рабочей партии — это бессмыслица и пошлость. Но, как отражение действительного духа немецкой социал-демократии последней четверти века перед